

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Бойцы



Уральские рассказы

Дмитрий Мамин-Сибиряк
Бойцы

«Public Domain»

1883

Мамин-Сибиряк Д. Н.

Бойцы / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain»,
1883 — (Уральские рассказы)

Очерки «Бойцы» написаны в большей своей части на основе личных впечатлений. В юношеские годы Мамину неоднократно приходилось совершать поездки по Чусовой от Висимо-Уткинской пристани до Перми. Сберегая скудные свои средства, родители были вынуждены отправлять сына в Пермскую духовную семинарию с попутным караваном барок, подвергая его всем превратностям такого рискованного путешествия. Сплав барок, как видно из очерков «Бойцы», был смертельно опасен для сплавщиков, бурлаков и «пассажиров». Юношеские впечатления оставили глубокий след в памяти Мамина

Содержание

I	5
II	9
III	12
IV	17
V	19
VI	24
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Бойцы

Очерки весеннего сплава по реке Чусовой

Ой, дубинушка, ухнем!

I

Мы приехали на пристань Каменку ночью. Утром, когда я проснулся, ласковое апрельское солнце весело глядело во все окна моей комнаты; где-то любовно ворковали голуби, задорно чирикали воробьи, и с улицы доносился тот неопределенный шум, какой врывается в комнату с первой выставленной рамой.

Весна, бесспорно, самое лучшее и самое поэтическое время года, о чем писано и переписано поэтами всех стран и народов; но едва ли где-нибудь весна так хороша, как на далеком, глухом севере, где она является поразительным контрастом сравнительно с суровой зимой. Притом южная весна наступает исподволь, а на севере она, наоборот, производит быстрый и стремительный переворот в жизни природы, точно какой невидимой могучей рукой разом зимние декорации переменяются на летние. С ясного голубого неба льются потоки животворящего света, земля торопливо выгоняет первую зелень, бледные северные цветочки смело пробиваются через тонкий слой тающего снега, — одним словом, в природе творится великая тайна обновления, и, кажется, самый воздух цветет и любовно дышит преисполняющими его силами. Прибавьте к этому освеженную гляцевитую зелень северного леса, веселый птичий гам и трудовую возню, какими оглашаются и вода, и лес, и поля, и воздух. Это величайшее торжество и апофеоз той великой силы, которая неудержимо льется с голубого неба, каким-то чудом претворяясь в зелень, цветы, аромат, звуки птичьих песен, и все кругом наполняет удесятеренной, кипучей деятельностью. Я люблю этот великий момент в бедной красками и звуками жизни северной природы, когда смерть и немое оцепенение зимы сменяется кипучими радостями короткого северного лета. Именно такой весенний апрельский день смотрел в окна моей комнаты, когда я проснулся на Каменке: весна гудела на улице, точно в воздухе катилось какое-то громадное колесо.

Распахнув окно, я долго любовался расстилавшейся перед моими глазами картиной бойкой пристани, залитой тысячеголосой волной собравшегося сюда народа; любовался Чусовой, которая сильно надулась и подняла свой синевато-грязный рыхлый лед, покрытый желтыми наледями и черными полыньями, точно он проржавел; любовался густым ельником, который сейчас за рекой поднимался могучей зеленой щеткой и выстилал загораживавшие к реке дорогу горы. В логах еще лежал снег, точно изъеденный червями; по проталинам зеленела первая весенняя травка, но березы были еще совсем голы и печально свесили свои припухшие красноватые ветви.

Каменка, одна из нижних чусовских пристаней, раскинула свои полтораэтажных изб по крутому правому берегу в углу, который образовала с Чусовой бойкая горная речка Каменка. Моя комната была во втором этаже, и из окна открывался широкий вид на реку и собственно на пристань, то есть гавань, где строились и грузились барки, на шлюз, через который барки выплывали в Чусовую, лесопильню, приютившуюся сейчас под углом, на котором стоял дом, где я остановился, и на красовавшуюся вдали двухэтажную кара-

ванную контору, построенную на самом юру, на стрелке между Каменкой и Чусовой. За рекой Каменкой, на низком, отлогом берегу, приткнулась маленькая деревушка, точно она сейчас вылезла из воды своими двумя десятками избушек и теперь сушилась на солнечном пригреве. Гавань устроена, вероятно, из островка или песчаной косы, которая образовалась в самом устье Каменки; нижняя часть этой косы была соединена с крутым берегом, на котором раскинулась пристань широкой плотиной. Берега гавани вплотную обставлены деревянными магазинами для склада металлов, строившимися и совсем готовыми барками; везде валялись бревна, сложенные в желтые квадраты, свежий тес, обломки сгнивших барок, кучи пакли, козла и платформы спущенных в гавань барок. Несколько огней, около которых варили смолу для барок, дополняли картину. Весь берег был залит народом, который толпился главным образом около караванной конторы и магазинов, где торопливо шла нагрузка барок; тысячи четыре бурлаков, как живой муравейник, облепили все кругом, и в воздухе висел глухой гул человеческих голосов, резкий лязг нагружаемого железа, удары топора, рубившего дерево, визг пил и глухое постукивание рабочих, конопативших уже готовые барки, точно тысячи дятлов долбили сырое, крепкое дерево. И над всей этой картиной широкой волной катилась бесшабашная бурлацкая «Дубинушка», с самыми нецензурными запевками. Не успевал замереть в одном месте дружный окрик работавших бурлаков, как сейчас же с новой силой вставал в другом. Могучий вал самой пестрой смеси звуков гулким эхом отдавался на противоположном берегу и, как пенная волна внешней полой воды, тянулся далеко вниз по реке, точно рокот живого человеческого моря. Эта картина кипучей деятельности тысяч людей представляла неизмеримый контраст с тем глубоким мертвым сном, каким покоится пристань Каменка целый год, за исключением двух-трех недель весеннего сплава. Еще день или два, река взломает лед, и вместе с водой уплывет вся эта бешеная работа, неистовый шум и крик, и опять все будет тихо и мертво кругом вплоть до будущей весны.

— С весной, голубчик! С весной поздравляю! — кричал хриплым голосом хозяин моей квартиры, врываясь в комнату в высоких охотничьих сапогах и в коротком ваточном пиджаке.

— А скоро река тронется, Осип Иванович?

— Э, голубчик, чего вы захотели... Да послушайте, милый человек, вы, кажется, еще не проснулись порядком: это бессовестно!.. Слышите: бессовестно... Я с четырех часов утра колочусь, как каторжный, а вы тут прохлаждаетесь. Вы посмотрите хоть на нашу пристань — ведь это целый ад, пекло какое-то... Ох, подлецы, подлецы!!!

— Кто это провинился так?

— Как кто? А бурлаки? Ведь их четыре тысячи, анафем, а у меня горло одно... Понимаете: одно! Сразу охрип... Ох, моченьки моей не стало с этими мошенниками!..

Осип Иванович энергично вытер свое вспотевшее румяное лицо бумажным платком, поправил спутавшиеся на голове редкие русые кудри, закрывавшие на макушке порядочную лысину, и залпом опрокинул две рюмки водки из графина, который стоял на угловом столике. Приземистая широкоплечая фигура Осипа Ивановича с красным затылком и высокой грудью служила как бы олицетворением преисполнявшей его энергии; выкатившиеся карие глаза с опухшими красноватыми веками смотрели блуждающим, усталым взглядом, как у человека, который только что сейчас вырвался из жестокой свалки. Русая борода и большие усы носили следы самого бесцеремонного обхождения: Осип Иванович, когда начинал сердиться, немилосердно ерошил свою бороду и грыз усы, а так как сердиться ему решительно ничего не стоило, то бороде и усам доставалось порядком.

— Ох, подлецы! — ворчал Осип Иванович сквозь зубы, с ожесточением прожевывая сухую корочку хлеба. — Аспиды!..

— Да чем они вас так обидели, Осип Иванович?

– Как чем?.. Сегодня какой день... а? – грозно приступил он ко мне, размахивая руками. – Какой день?

– Кажется, двадцать третье апреля...

– Вот то-то и есть: «кажется»... Вы бы в моей коже посидели, тогда на носу себе зарубили бы этот денек... двадцать третьего апреля – Егория вешнего – поняли? Только ленивая соха в поле не выезжает после Егория... Ну, обыкновенно, сплав затянулся, а пришел Егорий – все мужичье и взбеленилось: подай им сплав, хоть роди. Давеча так меня обступили, так с ножом к горлу и лезут... А я разве виноват, что весна выпала нынче поздняя?..

Наругавшись всласть и пропустив еще две рюмки, Осип Иваныч совсем другим тоном проговорил:

– Пойдемте со мной, посмотрите, как мы в смоле кипим. Сначала надо завернуть в кабак...

– Зачем?

– Народ гнать на работу. Только отвернись – сейчас в кабак... Я вам говорю: разбойники и протоканальи! А всех хуже наши каменские... Заберут задатки и в кабак, а там как хочешь и выворачивайся, хоть сам сталкивай барки в воду да грузи!..

В передней мы натолкнулись на мужика в разорванной красной рубаше; одной рукой он держался за стену, стараясь сохранить равновесие. По красному лицу и блуждающему взгляду мутных глаз можно было принять этого мужика за труднобольного, если бы от него не отдавало на целую версту специфическим ароматом перегорелой водки.

– Это ты, Савоська? – окликнул мужика Осип Иваныч.

– А то как же... я... я!..

– Чего тебе надо?

Мужик только что раскрыл рот для необходимых объяснений, как Осип Иваныч уже обрушился на него с необыкновенным азартом:

– Да ты где, каналья, шары-то¹ налил?.. а?! С какой радости... а?! Люди работают, надрываются, а он...

– Осип Иваныч... дай опохмелиться!

– Чего?

– Опохмел...

– Вот тебе опохмелиться, а вот закусить! – крикнул Осип Иваныч, схватывая Савоську за ворот и ловким подзатыльником выталкивая за дверь.

Мужик только загремел ногами по лестнице и кубарем выкатился на улицу, к удивлению толпившегося около дома народа.

– Гли, робя: Савоську опохмелили! – слышался из толпы чей-то веселый голос. – Ай да Осип Иваныч! уважил! Хороший стаканчик поднес!

– Видели? – спрашивал Осип Иваныч с улыбкой.

– Да...

– А между тем этот Савоська один из лучших сплавщиков у нас... Золото, а не мужик. Только вот проклятая зараза: как работа, так он без задних ног. Чистая беда с этими мерзавцами!

Когда мы вышли на улицу, Савоська писал мыслете,² по самой середине улицы, сдвинув свою рваную шляпенку на одно ухо. Это был красивый мужик лет сорока с широким бородатым лицом и русыми кудрями, которые лезли из-под шляпенки во все стороны шелковыми кольцами. Он пробовал было затянуть песню, но выходило какое-то дикое мычание,

¹ Шары – глаза. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

² Мыслете – старинное название буквы «м». Писать мыслете – идти нетвердым шагом.

и Савоська принялся ругаться в пространство, неровно взмахивая руками. Оглянувшись, он заметил Осипа Иваныча, остановился, подпер руки фертом³ и, пошатываясь, закричал:

– А я тебе... покажу, Оська!.. Подвяжу куфтой хвост-от... Веррно!..

– Ты у меня еще поразговаривай! – закричал Осип Иваныч.

– А мне плевать на тебя... Слышал?.. Плев...

Осип Иваныч ринулся вперед, но Савоська уже летел далеко впереди на всех рысях, потеряв свою шляпу.

– Прямо в кабак, шельмец, задул! – ругался Осип Иваныч, подбирая Савоськину шляпу.

³ ...подпер руки фертом. – Ферт – старинное название буквы «ф».

II

Осип Иванович служил на пристани приказчиком. Это был русский человек в полном смысле слова: бесхарактерный, добрый, вспыльчивый. Он обладал счастливой способностью с совершенно спокойной совестью ничего не делать по целым месяцам и просто лез на стену, когда наваливалась работа. Во время сплава он собственно был золотой человек, потому что лез из кожи в интересах транспортного общества «Нептун», которое отправляло металлы с Каменки, но, как часто бывает с такими людьми, от его работы выходило довольно мало толку. Осип Иванович без всякого пути разносил в щепы совершенно невинных людей, также без пути снисходил к отъявленным плутам и завзятым мошенникам и в конце концов был глубоко убежден, что без него на пристани хоть пропадай.

– Я их всех насквозь вижу, разбойников, – уверял он, когда мы шли по широкой улице к кабаку. – Это варначье только меня и боится; у меня разговор короткий: раз-два и к черррту!! Они меня знают! Да вон посмотрите, как зашевелились у кабака: завидели грозу... Ха-ха!

Мы шли сначала по берегу Чусовой, миновали часовню, чей-то высокий деревянный дом с зеленой железной крышей и завернули за угол. Попадавшие на пути избы производили хорошее впечатление своими толстыми бревнами, крепкими воротами, крытыми наглухо, по-раскольничьи, дворами и белыми кирпичными трубами; известное довольство сказывалось во всем, начиная с тесовых крепких крыш и кончая стекольчатыми окошками и расписными ставнями. На берегу и около домов – везде попадались кучки бурлаков, с котомками и без котомок, в рваных полушубках, в заплатанных азиях⁴ и просто в лохмотьях, состав которых можно определить только химическим путем, а не при помощи глаза.

– Ишь молодцы, только что явились на сплав! – ругался Осип Иванович, когда попадались бурлаки с котомками. – Ужо я вам покажу кузькину мать!..

– А что же вы им сделаете?

– Я?! У нас, голубчик, все это оформлено: просрочил явку на пристань – штраф; не явился на спешку⁵ барок – штраф; не пришел на нагрузку – штраф...

Дорогу нам загрозила артель бурлаков с котомками. Палки в руках и грязные лапти свидетельствовали о дальней дороге. Это был какой-то совсем серый народ, с испитыми лицами, понурым взглядом и неуклюжими, тяжелыми движениями. Видно, что пришли издалека, обносились и отошали в дороге. Вперед выделился сгорбленный седой старик и, сняв с головы что-то вроде вороньего гнезда, нерешительно и умоляюще заговорил:

– Осип Иванович! Мы уж к твоей милости...

– Откуда вы?

– Вятские мы, родимой мой, вятские...

– Ты не в первый раз на сплав пришел?

– Нет, не в первой... Раз с двадцать, может, уж сплыл.

– Ну, так чего тебе от меня нужно?

– Да вот запоздали мы, Осип Иванович... Грех такой вышел; непогодье нас захватило, а дорога дальняя.

– Знать не хочу... Вздор!.. Что у тебя в контракте сказано... а?... – заорал Осип Иванович, выкатывая глаза. – Я, что ли, буду сталкивать да грузить барки за вас?... Задатки любите получать?! а?!

– Да ведь задатки в волость пошли, за подушное... – как-то равнодушно оправдывался старик, совсем подавленный величием обступивших его нужд. – Подушное, Осип...

⁴ Азиям – крестьянская верхняя длиннополая одежда.

⁵ Спешка – спуск барок на воду (от слова «спихнуть»).

– А мне плевать на ваше подушное! Знать не хочу!! Просрочил трое суток – за трое суток и штраф по контракту...

– Осип Иваныч, родимой! Мы ведь тысячу верст с залишком брели сюды... изморились! А тут ростепель захватила...

– Вздор!.. Я не бог... понимаешь? Я не бог...

Старик только махнул рукой и пожевал сухими синими губами. Артель стояла как вкопанная; на изветрившихся лицах трудно было прочесть произведенное этой сценой впечатление. Старик, перебирая в руках свое воронье гнездо, что-то хотел еще сказать, но Осип Иваныч уже бежал к кабаку и с непечатной руганью врезался в толпу. Около кабака народ стоял стеной; звуки гармоники и треньканье балалаек перемешивались с пьяным говором, топотом отчаянной пляски и дикой пьяной песней, в которой ничего не разберешь. Эта толпа глухо колыхнулась и загудела, когда Осип Иваныч ворвался в самый центр и с неистовым криком принялся разгонять народ.

– Аспиды! Разбойники! Мошенники!! – ревел Осип Иваныч, как сумасшедший, не зная, на кого броситься; по пути он сыпал подзатыльниками и затрещинами.

Савоська выглянул из-за косяка кабацкой двери и быстро спрятался; на его месте показалась согнутая фигура заводского мастерового с запеченным лицом и слезившимися глазами.

– Осип Иваныч! Ты неправильно нас обиждаешь, – говорил он, когда Осип Иваныч протолкался сквозь густую толпу до самых дверей. – Сегоднi наш день, а завтра – твой... Мы тебе отробим, все отробим, а ты нас не тронь...

– Ах ты...

Мастеровой вылетел из кабака от одного удара могучей десницы Осипа Иваныча, а за ним вслед, как вилок капусты, полетел Савоська и растянулся плашмя на земле.

Пока Осип Иваныч совершал свои подвиги, записные пьяницы успели попрятаться за углами ближайших изб, чтобы опять забраться в кабак, когда гроза пронесется. Другие делали вид, что идут к гавани, но, завернув за угол первой улицы, совершали обходное движение, чтобы попасть в кабак с противоположной стороны. В числе последних был и Савоська в компании с ругавшимся и запеченным мастеровым, захватив по пути каких-то самых подозрительных девиц в коротких сарафанах и ярких платках на голове. В этой толпе женские лица попадались только в качестве исключений; домовитые хозяйки были завалены работой по горло, потому что нужно было прокормить чем-нибудь эту трехтысячную голодную толпу. Конечно, бурлацкое брюхо не отличается особенной прихотливостью, но и оно боится пустоты.

После долгого неистовства верного служакi музыка и песни смолкли, и толпа кабацких завсегдатаев медленно начала расходиться, потянувшись длинным хвостом к гавани.

– Вы посмотрите только, что это за народ! – кричал Осип Иваныч, выскакивая из кабака уже без шапки. – Мошенник на мошеннике... И все наши каменские, либо заводские! Уж только и наррродец...

Действительно, большинство бурлаков, собравшихся около кабака, были каменские бурлаки и заводские мастеровые. И тех и других отличишь сразу. Для них весенний сплав – разливное море, вечный праздник. Каменские славятся по всей Чусовой как лучшие бурлаки, но зато и отчаяннее этих Каменских не найти по всей Чусовой. Даже заводские мастеровые, тоже разбитной народ, не отличающийся особенной скромностью, далеко уступают каменским. Каменского бурлака вы сразу узнаете, хоть будь это распоследний пропойца и забулдыга, у которого весь костюм состоит из одних заплат. Он так умеет надеть на себя свои заплаты и идет по улице с таким самодовольным видом, что сейчас видно птицу по полету. А если он раздобылся красной рубахой, дырявыми сапогами и мало-мальски приличным чекменем, он ходит по пристани гоголем и знать ничего и никого не хочет. Лихорадочная,

каторжная работа на сплаву, бесконечная ленивая зима, когда бурлаку решительно нечего делать, затем водка при отвале каравана, водка на каждой хватке, водка на съемке обмелевших барок и самое крошечное, беспросыпное пьянство, когда караван привалит благополучно в Пермь, – все это взятое вместе создало совершенно особенный тип. Весенний сплав для Каменки – праздников праздник, и все одеваются в самое лучшее платье и ставят последний грош ребром.

Заводские мастеровые отличаются от каменных своими запеченными в огненной работе лицами, изможденным видом и тем особенным, неуловимым шиком, с каким умеет держать себя только настоящая заводская косточка. И чекмень на нем не так сидит, и шляпа сдвинута на ухо, и ходит черт-чертом. Впрочем, на сплав идут с заводов только самые оголтелые мастеровые, которым больше деваться некуда, а главное – нечем платить подати.

– Много у вас заводских? – спросил я Осипа Иваныча, когда он несколько отдышался после горячей сцены у кабака.

– Достаточно и этих подлецов... Никуда не годен человек, – ну и валяй на сплав! У нас все уйдет. Нам ведь с них не воду пить. Нынче по заводам, с печами Сименса⁶ да разными машинами, все меньше и меньше народу нужно – вот и бредут к нам. Все же хоть из-за хлеба на воду заработает.

– А сколько вы платите бурлакам за сплав?

– Рублей восемь, десять, смотря по контрактам. У нас ведь круговая порука: артелями нанимаем. Один из артели не явился – вся артель в ответе.

– Да ведь таким образом при расчете на руки артели может ничего не достаться.

– Сплошь и рядом... В другой раз еще с артели следует получать, только взять-то с них нечего. А без артели – беда! Чуть запоздал сплав – все расплзутся, как тараканы.

⁶ ...с печами Сименса. – Сименс Фридрих, немецкий инженер, усовершенствовал процесс варки стали.

III

От кабака мы пошли к караванной конторе.

По пути нам попадались те же кучки бурлаков, которые росли и увеличивались с каждым шагом, пока не перешли в сплошную движущуюся массу. Эти лохмотья, изможденные лица, пасмурные взгляды и усталые движения совсем не гармонировали с ликующим солнечным светом и весенним теплом, которое гнало с гор веселые, говорливые ручьи.

– Осип Иваныч, ослобони! – взмолился было давешний седой старик, выступая из толпы.

– Нет, друг мой, не могу: у меня слово – закон! – отрезал неумолимый Осип Иваныч, торопливо шагая к караванной конторе.

Сейчас под угором, где начиналась плотина гавани, стояла пыльня. Подавленный визг пил и какой-то особенный, хриплый звук разрезаемого сырого дерева мешался с всплесками и шумом вырывавшейся из-под водяного колеса воды. Пахло смолистым ароматом свежей сосны и елей, которые с хрипением умирающего вылезали из-под станка белыми правильными полосами досок. На плотине бурлаки смешались в сплошную массу, сквозь которую приходилось пробираться с большими усилиями, причем Осип Иваныч обратился опять к помощи самых отборнейших ругательств, выбор которых у него был замечательно разнообразен и приводил в изумление даже бурлаков.

– С этим народом иначе невозможно, – объяснял он, когда мы, наконец, продрались в караванную контору, где Осипа Иваныча уже дожидалось много народа. – Ох, смерть моя! – стонал он, не зная, кому отвечать. – У кабака с Каменскими да с мастеровыми горло дери, а здесь мужичье одолевает.

Толпа колыхалась и гудела, как пчелиный улей. Здесь действительно собрались все крестьяне, пришедшие на пристань из Вятской, Казанской и Уфимской губерний. Кого-кого тут не было!.. Но на всех лицах в выражении глаз сказывалась одна общая печать: это были люди деревни, загнанные за сотни верст на сплав горькой, неотступной нуждой. Здесь не было и помину о той отчаянности, какой выделялись каменские бурлаки, не было и своеобразного шика заводских мастеровых: одна общая мысль, одна общая забота связывала эти тысячи бурлаков в один могучий стройный аккорд. Во всех взглядах можно прочесть одну мысль – мысль о земле, которая в такую горячую внешнюю пору сиротеет где-нибудь за тысячу верст. Общий интерес придавал этому оторванному от родной земли уголку крестьянского мира совершенно своеобразную физиономию: они принесли сюда свою великую крестьянскую заботу, от которой давно «ослобонились» мастеровые и разный другой сброд, какой набирается на сплав. Они подавляли молчаливым величием крикливые «качества» вырванных из земли с корнем людей, индивидуализированных в духе известной экономической школы.

Все время, пока мы шли до конторы, за нами по пятам пробирался небольшой взлохмаченный мужичонка в лаптях и в широком халате, какие носят только вятские. Он терпеливо и покорно выждал, пока Осип Иваныч ругался направо и налево, а потом как-то вяло проговорил:

– А я к твоей милости, Осип Иваныч!

Осип Иваныч быстро вскинул глазами на мужика и с каким-то отчаянием замахал руками.

– Да ты зарезать меня хочешь, мошенник! – завопил он, с бешенством накидываясь на несчастного мужика. – Ну чего тебе от меня нужно... а?.. Ну говори, говори, не тяни за душу!

– Вторую неделю проживаемся на пристани... – спокойно отвечал мужик, переминаясь. – Обносились, хлебушка нет... двое из артели-то в лежку лежат: огневица прихватила.

– Ну и пусть лежат, я-то чем виноват... а?... Я разве бог?... Мне-то какая радость держать вас на пристани?..

– А я к тому говорю, что кабы артель не выворотилась в деревню...

– Ах ббожже ммой!! А контракт? Что у тебя в контракте сказано: «Обязуюсь ждать сплава по первое число мая месяца, а свыше сего, ежели сплав затянется, назначается поденная плата в размере...»

– Оно тошно што, оно по кондракту, Осип Иваныч... и обязались мы ждать, и насчет поденной платы... Только вот севодни Егория, а через неделю Еремея-запрягальника. Сумлеваюсь насчет артели, Осип Иваныч, как бы со сплавом не выворотилась.

– Я вот вам, подлецам, такого запрягальника пропишу, что до будущего сплава будете меня помнить! – горячился Осип Иваныч, начиная жестикулировать самым решительным образом. – «Сумлеваюсь, как бы артель не выворотилась»!.. Мошенники!.. Ты первый зажигатель и бунтовщик... понимаешь? Сейчас позову казаков, руки к лопаткам и всю шкуру выворочу наизнанку...

– Река-то когда еще пройдет, а пашня не ждет, – точно вслух думал бунтовщик.

– А ты все свое долбишь! а? – грозно зарычал Осип Иваныч, бросаясь с кулаками на бунтовщика. – Если ты мне еще раз покажешь свою рожу... да я... Ну купи, черт ты этакий, гармонику или балалайку и наигрывай, в кабаке бы зашел от скуки... Разве я запрещаю?!

Мужик почесывался, переминался и опять начинал свою песню про Еремея-запрягальника, пашню и артель. Сцена кончилась тем, что Осип Иваныч, наконец, не вытерпел и выгнал бунтовщика из конторы в шею.

– Зачем вы его выгнали? – спросил я. – Ведь он совершенно верно говорил все...

– А я разве спорю, что не верно? Только он заключил контракт и должен его выполнить... А выгнал я его потому, что этот мужичонка-коновод расстраивает других. Таких молодцов на пристани до десятка наберется, всю душу вытянули. Да вон и другой лезет... Ах боже ммой!!

Каменская караванная контора представляла собой красивое двухэтажное здание с мезонином и широким железным балконом, выходившим прямо на реку. Во втором этаже была квартира караванного, Семёна Семёныча, а в нижнем, в одной громадной комнате, помещалась собственно караванная контора, которая, как и все конторы, отличалась страшнейшим беспорядком, канцелярски-промоглым воздухом и специально деловой пылью и грязью. Двери, письменные столы, стулья, деревянная решетка, которой отгораживалось отделение для приходящих, – все было захватано сальными, потными руками, и в некоторых местах жирная грязь скопилась в толстые черные полосы. За двумя длинными столами помещались служащие, обложенные кучами бумаг; у самой решетки, за отдельным столиком, сидел кассир, старик лет под шестьдесят, с выбритым деревянным лицом и старинными очками в серебряной оправе на носу. Он методически, как заведенная машина, опускал правую руку в железный ящик, брал ассигнацию, большей частью рубль, и мельком взглянув на предъявленный бурлаком контракт и расчетную книжку, передавал ее в мозолистые, корявые руки. Бумажка завертывалась в какую-нибудь тряпицу или в пестрядевый кисет и затем исчезала за пазухой или за голенищем или просто уносилась из конторы в крепко сжатой руке. Перед кассиром дефилировал бесконечный ряд бурлацких лиц и лохмотьев.

– Эти все штраф заплатят? – спрашивал, сидя на окне, жирный подрядчик с толстой шеей.

– Да, запоздали... – весело отвечал молодой служащий с румяным лицом и белокурой шевелюрой. – Рубль штрафа, за каждый просроченный день...

– А Осип-то Иваныч как поправляется с бурлачиной! – лениво протянул подрядчик, закуривая крючок из махорки. – Он у вас теперь вроде как главнокомандующий... Ишь так петухом и наступает, так и наступает!.. Только и пасть же уродил ему господь: труба трубой.

Служащие переглянулись и засмеялись. В углу на скамейке дремал оренбургский казак с нагайкой через плечо; фуражка с голубым околышем сбилась на одну сторону, по безумному молодому лицу бродило много мух. Два других казака, сидя рядом на подоконнике, играли в «хлюст». Это была стража при становом, который обязательно является на каждый сплав для устранения недоразумений. Когда Осип Иваныч, окруженный бурлаками, начинал голосить особенно неистово и с отчаянием вздымал обе руки к небу, казаки вскакивали с подоконника и на минуту вытягивались в струнку.

– Тьфу!! Черт вас всех возьми... Провалитесь вы совсем! – ругался Осип Иваныч, задышавшись от жары.

В конторе было страшно накурено, и сгущался тот специфический миазм, какой приносит с собой в комнату наш младший брат в лаптях. А в большие запыленные окна гляделось весеннее солнышко, полосы голубого неба, край зеленого леса. Я поскорее вышел на крыльцо, чтобыдохнуть свежим воздухом.

Около конторы народ по-прежнему стоял стена стеной, и по-прежнему это был крестьянский люд. Выгнанный Осипом Иванычем бунтовщик был окружен целой толпой односельчан, с нетерпением ждавшей результатов ходатайства.

– Ну чего, дядя Силантий? – спросил белобрысый молодой парень с рябым лицом.

– По кондракту, говорит... – ответил дядя Силантий, почесывая за ухом.

– Выворотимся! – решил плечистый мужик в рваном зипуне.

– Надо обождать, – заметил Силантий. – Много ждали, маленько обождем.

Толпа загалдела. На ходака посыпались упреки и ругательства, но он только моргал глазами и отмахивался бессильным жестом рук. К этой артели присоединились другие, и в воздухе поднялся какой-то стон от взрыва общего негодования. Тут же толклись чердынцы, кунгурыки, соликамцы и тоже галдели и ругались, размахивая руками.

– Ну вас к богу совсем! – проговорил Силантий, усаживаясь на приступок крыльца. – Ступайте, коли хотите, а я останусь... Тебе, Митрей, видно, охота, чтобы шкуру спустили в волости, когда со сплавом прибежишь, – заметил он, вынимая из котомки берестяной бурак.

– И пусть спускают, – горячился белобрысый парень. – Я сам-сем в семье, а ежели пашню пропущу из-за вашего сплава – все по миру пойдут... это как?..

– А так... Осип Иваныч рассказывает: «Купи, говорит, гармонь али балалайку и наигравай...» Ну, будет тебе, Митрей, вот садись, уже закусим хлебушка.

Митрий, олицетворенная черноземная сила, вдруг отмяк от одного ласкового слова дяди Силантия и присел на корточки около его таинственного бурака.

– Зачерпни-кошь водицы, Митрей, бурачком-то!

Пока Митрий ходил с бураком за водой, Силантий неторопливо развязал небольшой мешок и достал оттуда пригоршню заплесневелых, сухих, как камень, корок черного хлеба.

– Что, плохи сухари-то? – спросил я Силантия.

– А какие есть, барин. И этих едва раздобылся: все приели бурлаки на пристани. Пристанские-то бабы денежку наживают около нашего брата. С лета начинают копить пищу про бурлаков, значит, к вешнему сплаву. Корочка хлебушка заваялась, заплесневела, огрызок ребятишки оставили – все копят бабы, потому бурлаки съедят все, только бы хлебушком пахло. Тоже вот которая редька тронется, продрябнет, кислы⁷ испортятся, картошка почернеет – все берегут для нас, а мы им за это деньги платим. Из дому не понесешь за тыщу-то верст...

Когда Митрий вернулся с водой, Силантий спустил в бурак свои сухари и долго их размешивал деревянной облизанной ложкой. Сухари, приготовленные из недопеченного, сырого хлеба, и не думали размокать, что очень огорчало обоих мужиков, пока они не стали

⁷ Кислы – проквашенная мелкая капуста. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

есть свое импровизированное кушанье в его настоящем виде. Перед тем как взяться за ложки, они сняли шапки и набожно помолились в восточную сторону. Я уверен, что самая голодная крыса – и та отказалась бы есть окаменелые сухари из бурака Силантия.

– Вы издалека? – спросил я, когда бурлаки выхлебали из бурака остатки мутной воды с плававшей плесенью, мелкими крошками и опять помолились.

– Дальние будем; дальние, барин. Из-под Лаишева пришли... – отвечал Силантий, надевая шапку. – Ну, Митрей, на седни потрапезовали, а к завтра тебе промышлять пропитал... Дойди до деревни, может, найдешь где еще корочек-то.

Молодой мужик переминался и не шел.

– Што не идешь? Видно, в кармане пусто... Эх ты, горе липовое! У меня тоже не густо денег-то: совсем прохарчились на этой треклятой пристане, штобы ей пусто было...

Дядя Силантий из глубины пазухи добыл пестрядевый мешочек, бережно его развязал и высыпал на ладонь несколько медяков.

– Все тут. На, сходи к бабам, поищи.

Конфузливо собрав деньги с ладони дяди Силантия, Митрий исчез в толпе.

– Зачем вы нанимаетесь на сплав? – спрашивал я Силантия.

– Нельзя, милый барин. Знамо, не по своей воле тащимся на сплав, а нужда гонит. Недород у нас... подати справляют... Ну, а где взять? А караванные приказчики уж пронюхают, где недород, и по зиме все деревни объедут. Приехали – сейчас в волость: кто подати не донес? А писарь и старшина уж ждут их, тоже свою спину берегут, и сейчас кондракт... За десять-то рублей ты и должен месить сперва на пристань тыщу верст, потом сплаву обжидать, а там на барке сбежать к Перме али дальше, как подрядился по кондракту.

– Ведь это для вас невыгодно?

– Какое выгодно! Нож вострой нам эти сплавы, вот што! Рассуди сам: сам теперь я из дому должен выйти на сплав за шесть недель, да сплаву прождешь другой раз все две недели, да на барке бежишь до Перми четыре дни, а дальше клади еще неделю. Сколь всего-то выйдет?

– Почти два с половиной месяца...

– Так, а другой раз и все три. А деньги-то, из десяти-то рублей, семь в подать пошли, рупь выдали, как пришли на сплав, а два рубли получим, когда караван привалит к Перме. На три-то месяца бурлаку рупь и приходится, а куды ты его повернешь? Теперь сколько одной лопотины,⁸ в дороге проносишь, сколько обуя⁹ а пить-есть само собой... Вот Осип Иваныч-то даве говорит: купи гармонь али ступай в кабак, а того не думает, што у меня всю душеньку выворотило. Ночей не спишь, все про свое думаешь... За эти десять-то рублей я три месяца проболтаюсь да пашню опушу, – ну, а какой я мужик без пашни? Вон Митрей-то сам-сем: вот тебе и гармонь!

– Чем же вы живете эти три месяца? Неужели на один рубль?

– На рупь, барин, на него... Пока из дому бредем, так свойский, домашний хлебушко жуешь, а на пристане свой рупь и проживешь. На верхних пристанях дают бурлакам по пуду муки, а то и по два. Говядины тоже, сказывают, дают фунтов по пяти на брата...

– Все-таки рубль на три месяца...

– Это еще што! И рупь деньги! А ты вот посуди, какое дело: теперь мы бежим с караваном, а барка возьми да и убейся... Который потонул – того похоронят на бережку, а каково тем, кто жив-то останется? Расчету никакого, котомки потонули, а ты и ступай месить свою тысячу верст с пустым брюхом... Вот где нашему брату беда-бедовенная!

– А тебе случалось так уходить со сплаву?

⁸ Лопотина – верхняя одежда, вообще платье. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

⁹ Обуй – обувь. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

– Нет, меня господь миловал, а другие много приходят домой чуть не под Петров день... Ей-богу! Ведь это мужику разор, всю семьюшку измором сморишь!

– Чем же бурлаки питаются, когда бредут домой с разбитой барки?

– А бог?..

Последнее было сказано с такой глубокой верой, что не требовало дальнейших пояснений. Я долго смотрел на убежденное, спокойное выражение облупившегося под солнцем лица Силантия, на его песочную бороденку и крошечные слезившиеся глазки; от этого лица веяло такой несокрушимой силой, перед которой все препятствия должны отступить.

Наш разговор и мои размышления были прерваны появившейся ватагой пьяных бурлаков, которая валила к конторе с песнями и пляской, диким гиканьем и присвистом.

– Ишь как камешки да мастеровые разгулялись, – задумчиво проговорил Силантий. – Им што: сполагоря – весь тут. Получил задаток и гуляй... Самый бросовый народ, ежели разобрать. Никакой-то заботушки, окромя кабака... Ох-хо-хо!.. Мы каменных бурлаков камешками зовем, барин...

– Да и они тоже не от радости в кабак идут, Силантий.

– Может, и так, кто их знает, а я к тому вымолвил, што супротив наших деревенских очень уж безобразничают. Конечно, им на сплав рукой подать, и время они никакого не знают...

IV

Я долго бродил по пристани, толкаясь между крестьянскими артелями и другим бурлацким людом. Шум и гам живого человеческого моря утомили слух, а эти испытанные лица и однообразные лохмотья мозолили глаза. Картины и типы повторялись на одну тему; кипевшая сумятица начинала казаться самым обыкновенным делом. Сила привычки вступала в свои права, подавляя свежесть и ясность первого впечатления.

После обеда, когда я успел немного отдохнуть от вороха воспринятых ощущений, я опять отправился бродить по пристани, только на этот раз пошел не к караванной конторе, а в противоположную сторону, по нагорному берегу Чусовой, где виднелись сплавные избы и толпы бурлаков не были так густы. Между прочим, здесь мне кинулись в глаза несколько бурлацких групп, которые отличались от всех других тем, что среди них не слышалось шума и говора, не вырывалась песня или веселая прибаутка, а, напротив, какая-то мертвая тишина и неподвижность делала их заметными среди других бурлаков. Кроме рваных овчинных полушубков, серых кафтанов и лаптей, здесь попадались белые войлочные шляпы с широкими полями, меховые треухи, олени круглые шапки с наушниками и просто невообразимая рвань, каким-то чудом державшаяся на голове. Обладатели этих треухов, белых шляп и оленьих шапок совсем не принимали никакого участия в общем шуме и гвалте, а боязливо держались поодаль от остальных бурлаков. По всему было заметно, что эти люди чувствовали себя совсем чужими в этом разгулявшемся море, а сознание своей отчужденности заставляло их сбиться в отдельные кучки.

– И уродит же господь-батюшко эку страсть! – богобоязливо и с заметным отвращением говорила какая-то старушонка, тащившая к гавани решетку с свежими калачами.

Несколько мальчишек образовали около молчаливых людей две-три весело смеявшихся шеренги; мальчишки посмелее пробовали заговорить с ними, но, не получая ответа, ограничивались тем, что громко хохотали и указывали пальцами.

– Гли, робя, шапка-то как на ем! – резко выкрикивал босой мальчуган, вытирая нос рукавом рубахи. – Как мухомор... А глаза узенькие да чернящие! Страсть!

– А у другого-то, робя, ременный пояс и скобка прикована к поясу... Дядя, на что скобку приковал?

– Это бороться, надо полагать.

– Врешь. Они топоры в скобках носят... Гли-ко, огниво у каждого! Тоже вот нехристи, а огонь любят.

Эти странные, молчаливые люди – инородцы, которых на каждый сплав собирается из разных мест Урала иногда несколько сот. Были тут башкиры из Уфимской губернии, пермяки из Чердынского уезда, вогулы из Верхотурского, зыряне из Вологодской губернии, татары из Кунгурского уезда и из-под Лаишева. Из-под белых войлочных шляп сверкали черные с косым разрезом глаза кровных степняков цветущей Башкирии; из-под оленьих шапок и треухов выглядывали прямые жесткие волосы с черным отливом, а приподнятые скулы точно сдавливали глаза в узкие щели. Белобрысы пермяки с бесцветными, как пергамент, лицами, серыми глазами и неподвижно сложенными губами казались еще безжизненнее и серее рядом с пронырливыми и хитрыми зырянами. Основные типичные черты монгольского типа перемешались здесь с финскими, и, право, трудно было решить, кто из них был жалче. Русская бедность и нищета казались богатством по сравнению с этой степной голытьбой и жертвами медленного вымирания самых глухих лесных дебрей. Как ни беден русский бурлак, но у него есть еще впереди что-то вроде надежды, осталось сознание необходимости борьбы за свое существование, а здесь крайний север и степная Азия производили подавляющее впечатление своей мертвой апатией и полнейшей беспомощностью. Для

этих людей не было будущего: они жили сегодняшним днем, чтобы медленно умереть завтра или послезавтра.

Живее других казались башкиры и татары, которые поэтому и сосредоточивали на себе особенное внимание мальчишек.

– Сплав гулял, вода ташшил, барка кунчал... – задорно поддразнивал какой-то белоголовый мальчуган.

Моя попытка разговаривать с этими дикарями кончилась полной неудачей и вызвала только неумолкаемый смех маленькой веселой публики. При помощи трех слов: «гулял», «ташшил» и «кунчал» трудно было разговаривать с незнакомыми людьми, а пермяки и этого не знали. Один, впрочем, как-то апатично произнес одно слово: «клэп», то есть хлеб.

– Нянь? – спросил я.

– Нянь, нянь... – ответил пермяк и даже не удивился, услышав свое родное слово; по-пермяцки «нянь» значит хлеб.

Других пермяцких слов в моем лексиконе не оказалось, и я расстался с молчаливыми людьми, приговоренными историей к истреблению. Но эти лица и это единственное русское слово «клэп» все время не выходили у меня из головы. Какая сила выбила этих людей из их дремучих лесов и привольных степей и выкинула сюда, на берег далекой горной реки? Ответ, конечно, один: нужда, которая в лесу и степи еще страшнее и беспощаднее, чем по городам и селам. Как солнечная теплота, заставляя таять зимний снег, собирает воду в известные водоемы, так и нужда стягивает живую человеческую силу в определенные боевые места, где не существует разницы племен и языков. Наблюдая этих позабытых историей людей, эту живую иллюстрацию железного закона вымирания слабейших цивилизаций под напором и давлением сильнейших, я испытывал самое тяжелое, гнетущее чувство, которое охватывало душу мертвящей тоской. Ведь вся история человечества создана на подобных жертвах, ведь под каждым благодеянием цивилизации таятся тысячи и миллионы безвременно погибших в непосильной борьбе существований, ведь каждый вершок земли, на котором мы живем, напоен кровью аборигенов, и каждый глоток воздуха, каждая наша радость отравлены мириадами неизвестных страданий, о которых позабыла история, которым мы не приберем названия и которые каждый новый день хоронит мать-земля в своих недрах...

V

Вечер этого шумного дня мне привелось провести в караванной конторе, где, в квартире поверенного от общества «Нептун», собралась веселая компания.

Квартира занимала второй этаж; светлая высокая гостиная была убрана с роскошью, хотя бы и не для Каменки. Мягкая мебель, драпировки на окнах, ковры, бронза – одним словом, все было убрано во вкусе той буржуазной роскоши, какую создает русский человек, когда чувствует за собой теплое и доходное местечко. Правда, поговаривали, что дела компании «Нептун» в очень незавидном положении, но у нас уж как-то так на Руси устроилось, что чем плоше дела какого-нибудь предприятия, тем вольготнее живут его учредители, члены, поверенные, контролеры, ревизоры и прочая братия, питающаяся от крох падающих. Специально о караванных конторах на Урале существует что-то вроде математической аксиомы: стоит только попасть поближе к каравану, и все блага сего грешного мира повалятся на такого мудреца. Если вы удивитесь, что такой-то ничего не имел несколько лет назад и был беден, как церковная мышь, а теперь ворочает десятками тысяч собственного капитала, имеет несколько домов в Перми или в Екатеринбурге, вам совершенно серьезно ответят стереотипной фразой: «Да ведь он служил в караване...» Дальнейших пояснений не требуется все равно как для человека, побывавшего в Калифорнии, сопричисленного к интендантскому ведомству или ограбившего какой-нибудь банк. Для меня эти караванные метаморфозы всегда составляли неразрешимую задачу, и я упомянул о них только между прочим, потому что в экономической жизни Урала вообще встречается очень много самых непонятных феноменов.

– Шшш... – встретил меня многознаменательным шипением караванный поверенный, умоляюще воздевая руки кверху.

– Кто-нибудь болен, Семен Семеныч? – поспешил я осведомиться.

– О нет... Все, слава богу, здоровы; только в кабинете у меня сам отдыхает.

– Кто сам?

Поверенный назвал фамилию одного из членов-учредителей общества «Нептун», пользовавшегося между Нижним и Екатеринбургом громкой репутацией финансовой головы и великого промышленного дельца. Сам поверенный, которого я встречал на горных заводах, был одной из тех неопределенных и бесцветных личностей, которыми особенно богато наше время; они являются неизвестно откуда, по каким-то таинственнейшим протекциям занимают самые теплые местечки, наживают кругленькие капиталы и исчезают неизвестно куда. Каменский караванный принадлежал именно к этому сорту людей, и в крайнем случае о нем можно сказать только то, что одевался он совершенно безукоризненно, обладал счастливым аппетитом и любил угостить. Как известно, на угощение русский человек необыкновенно падок, и бесцветные люди отлично пользуются этой кровной чертой славянской натуры.

Мы на цыпочках прошли в следующую комнату, где сидели два заводских управителя, доктор, становой и еще несколько мелких служащих. На одном столе помещалась батарея бутылок всевозможного вина, а за другим шла игра в карты. Одним словом, по случаю сплава всем работы было по горло, о чем красноречиво свидетельствовали раскрасневшиеся лица, блуждающие взгляды и не совсем связанные разговоры. Из опасения разбудить «самого» говорили почтительным полусшепотом.

– Слышите, что делается? – говорил поверенный, указывая мне движением головы на окно, откуда доносился глухой гул от собравшихся вокруг конторы бурлаков. – Чистая беда!

Вся обстановка и выражение лиц собравшейся компании как-то не вязались с этим отчаянием.

– Конечно, вам легко рассуждать, – вступился один из управителей, – ваше дело сторона, а вот посадить бы на наше место... Чей ход, господа?..

– Господа, нужно промочить горлышко, – суетился поверенный, разливая вино по рюмкам. – Авось Чусовая скорее пройдет...

Все, конечно, поспешили на помощь застоявшейся Чусовой. В углу сидел заводский доктор и, видимо, дремал; я присоединился к нему.

– Много больных на пристани? – спросил я.

Доктор с недоумением посмотрел на меня, пожевал губами и с уверенной улыбкой проговорил:

– Вы лучше спросите, чем они живы, эти бурлаки... Помилуйте! Каждая лошадь лучше питается, чем весь этот народ. А работа? Да это чистейший ад... Тиф, лихорадка, – так и валяются десятками!

– Больница есть?

Доктор только махнул рукой и опять задремал.

Игра, несмотря на предупредительное шипение хозяина, разгоралась. Кучки денег на зеленом столе росли, а с ними росло и оживление игроков. Особенно типичны были управители, которые живут на Урале, как помещики. Это совершенно особенный тип, создавший кругом себя новое крепостное право, которое отличается от старого своими изящными, но более цепкими формами. С каждым годом заводскому населению приходится тяжелее, а параллельно с этим возвышается благосостояние управителей, управляющих, поверенных и целого сонма служащего люда. Как это происходит – мы поговорим в другом месте, а теперь ограничимся только указанием на существующую аналогию плохого положения компании «Нептун», бурлаков и процветания администрации. Вероятно, это странное явление можно подвести под самый простой закон переливания жидкости из одного сосуда в другой: что убыло в одном, то прибыло в другом.

Один из управителей, еще молодой господин, с жирным лицом и каким-то остановившимся взглядом, выглядывал настоящим американским плантатором; другой, какой-то безымянный немец, весь красный, до ворота охотничьей куртки, с взъерошенными волосами и козлиной бородкой, смахивал на берейтора или фехтовального учителя и, кажется, ничего общего с заводской техникой не имел. Немец хлопал рюмку за рюмкой, но не пьянел, а только начинал горячиться, причем ломаные русские фразы так и сыпались у него из-под лихо закрученных рыжих усов.

– Пастаки!.. – постоянно повторял немец, когда у него убивали карту. – Сукина сына, туда твой дорог... Швинья – карт!

Служащие помельче сбились в самый дальний уголок и там потихоньку перешептывались о своих делах. К заветному столику с винами они подходили не иначе, как по приглашению хозяина.

– Егор Фомич изволят шевелиться... – змеиным сипом докладывал хозяину какой-то господин, нечто среднее между служащим и лакеем.

– Шш... – зашипел опять хозяин, а потом, обратившись к «среднему», категорически объявил: – У меня смотреть в оба! И ежели где-нибудь что-нибудь пошевелится или застучит – ты в ответе... Понял?

«Среднее» исчезло, чтобы через пять минут опять появиться в дверях.

– Егор Фомич изволили проснуться...

Это известие всех заставило встряхнуться и принять надлежащий вид. Руки как-то сами собой застегивали пуговицы у скрутков и визиток, поправляли галстуки, лезли в карман за носовыми платками, и соответственно этому слышались глубокие вздохи, осторожные покашливания, – словом, производились все необходимые действия, соответствующие величию Егора Фомича.

– Господа! Пожалуйте в залу! – пригласил всех хозяин. – Егор Фомич, вероятно, будут сейчас кушать чай.

В светлой зале за большим столом, на котором кипел самовар, ждали пробуждения Егора Фомича еще несколько человек. Все разместились вокруг стола и с напряженным вниманием посматривали на дверь в кабинет, где слышались мягкие шаги и легкое покашливание. Через четверть часа на пороге, наконец, появился и сам Егор Фомич, красивый высокий мужчина лет сорока; его свежее умное лицо было слегка помято недавним сном.

– Не помешали ли вам отдохнуть, Егор Фомич? – суетился поверенный, забегаая петушком перед «самим».

– Ах нет, прекрасно выспался, – небрежно ответил Егор Фомич, галантно здороваясь с гостями.

С особенным вниманием отнесся Егор Фомич к высокому седому старику раскольниковского склада. Это был управляющий...ских заводов, с которых компания «Нептун» отправляла все металлы. Перед нужным человеком Егор Фомич рассыпался мелким бесом, хотя суровый старик был не из особенно податливых: он так и выглядел последышем тех грозных управителей, которые во времена крепостного права гнули в бараний рог десятки тысяч людей.

– Надеюсь, вы все видели, все наши порядки? – лебезил перед стариком Егор Фомич, заискивающе улыбаясь.

– Да, видел-с... Народ распустили – безобразие! – коротко отвечал старик. – Порядку настоящего нет...

– Ах, Парфен Маркыч, Парфен Маркыч! – взмолился Егор Фомич, делая выразительный жест. – Не старые времена, не прежние порядки! Приходится покоряться и брать то, что есть под руками. Сознаю, вполне сознаю, глубокоуважаемый Парфен Маркыч, что многое выходит не так, как было бы желательно, но что делать, глаза выше лба не растут...

Говорить умел Егор Фомич необыкновенно душевно и вместе уверенно. Голос у него был богатый, с низкими грудными нотами; каждое слово сопровождалось соответствующим жестом, улыбкой, игрой глаз, отражалось в позе. Одним словом, это был тертый калач, выдавший виды. Семен Семеныч с благоговением заглядывал в рот своему божку и не смел моргнуть. Глядя на бесцветную вытянутую фигуру Семена Семеныча, так и казалось, что она одна, сама по себе, не имела решительно никакого значения и получала его только в присутствии Егора Фомича, являясь его естественным продолжением, как хвост у собаки или как в грамматике прямое дополнение при сказуемом. Бывают такие люди-дополнения, смысл существования которых выясняется только в присутствии их патронов: люди-дополнения, как планеты, в состоянии светить только заимствованным светом.

– Я рад, господа, видеть в вашем лице людей, которые являются носителями промышленных идей нашего великого века! – ораторствовал Егор Фомич, закругляя руку, чтобы принять стакан чая. – Мы живем в такое время, когда просто грешно не принимать участия в общей работе... Помните евангельского ленивого раба, который закопал свой талант в землю?¹⁰ Да, наше время именно время приумножения... Не так ли, Павел Петрович? – обратился он к становому.

– А... что?.. Так точно-с... – отозвался Павел Петрович, бурбон чистойшей воды.

– Надеюсь, вы не откажетесь в числе других принять участие в общем труде?

– Помилуйте-с, с большим удовольствием!

– И отлично. Значит, вы поступаете в число акционеров нашего «Нептуна»?

¹⁰ Помните евангельского ленивого раба, который закопал свой талант в землю? – Талант – древняя денежная единица; в евангелии рассказывается о рабе, который закопал в землю деньги, оставленные ему господином во время его отсутствия; по возвращении хозяина раб выкопал деньги и возвратил их полностью; другой раб пустил оставленные деньги в оборот и вернул их с процентами. Закопать, зарыть талант – оставить знания, способности, средства без развития и приумножения.

– Да... то есть нет, пока... Вот мы с доктором пополам возьмем одну акцию.

– Я, право, еще не знаю, – отозвался доктор. – Да и денег свободных нет... Нужно подумать...

– Чего же тут думать? – вежливо удивлялся Егор Фомич. – Помилуйте!.. Дело ясно, как день: государственный банк платит за бессрочные вклады три процента, частные банки – пять – семь процентов, а от «Нептуна» вы получите пятнадцать – двадцать процентов...

Управитель-плантатор выразил сомнение относительно такой смелой пропорции, но «сам» не смутился возражением и заговорил еще мягче и душевнее:

– Я понимаю, что вас, Алексей Самойлович, смутило. Именно, вы сомневаетесь в таком высоком дивиденде при начале предприятия, когда потребуются усиленные затраты, неизбежные во всяком новом деле. Не правда ли?

– Да... Мне кажется, что вы преувеличиваете, Егор Фомич, – возражал Алексей Самойлович неуверенным тоном. – Когда предприятие окончательно окрепнет, тогда, я не спорю...

– Я то же думаю, – вставил свое слово Парфен Маркыч.

– Ах, господа... А если я ручаюсь вам головой за верность этих пятнадцати – двадцати процентов?

– Но ведь здесь может быть много побочных обстоятельств, – заметил доктор с своей стороны. – Один неудачный сплав, и вместо дивидендов получатся дефициты...

– Совершенно верно и справедливо... если мы будем иметь в виду только один год, – мягко возражал Егор Фомич, прихлебывая чай. – Но ведь в промышленных предприятиях сметы приходится делать на известный срок, чтобы такие случайные убытки и прибыли уравнивали друг друга. Возьмемте, например, десятилетний срок для нашего сплава: средняя цифра убитых барок вычислена почти за целое столетие, средним числом из тридцати барок бьется одна. Следовательно, здесь мы имеем дело с вполне верным расчетом, даже больше, потому что по мере необходимых улучшений в условиях сплава процент крушений постепенно будет понижаться, а вместе с этим будет расти и цифра дивиденда. Только взгляните на дело совершенно беспристрастно и на время позабудьте, что вы намереваетесь записаться в число наших акционеров.

Эта шутка рассмешила всех, даже сам Парфен Маркыч улыбнулся.

– Пастаки! – провозгласил за всех немец, выкатывая глаза. – Барка нэт умер.

Чай незаметно перешел на закуску, а затем в ужин. Будущие промышленные деятели обратили теперь особенное внимание на уху из живых харюзов, а Егор Фомич налег на вина. Шестирублевый шартрез привел станового в умиление, и он даже расцеловал Семена Семеныча, на обязанности которого лежал самый бдительный надзор за рюмками гостей.

– А Чусовая все еще не прошла? – спрашивал Егор Фомич в середине ужина, не обращаясь собственно ни к кому.

– Никак нет-с, – почтительно отвечал Семен Семеныч.

– Гм... жаль! Но приходится помириться, как мы миримся с капризами всех хорошеньких женщин. Наша Чусовая самая капризная из красавиц... Не так ли, господа?

За ужином, конечно, все пили, как умеет пить только один русский человек, без толка и смысла, а так, потому что предлагают пить.

– Урал – золотое дно для России, – ораторствовал Егор Фомич, – но ахиллесова пятка его – пути сообщения... Не будь Чусовой, пришлось бы очень плохо всем заводчикам и крупным торговым фирмам. Пятьдесят горных заводов сплавляют по Чусовой пять миллионов пудов металлов, да купеческий караван поднимает миллиона три пудов. Получается очень почтенная цифра в восемь миллионов пудов груза... Для нас даже будущая железная

дорога¹¹ не представляет ни малейшей опасности, потому что конкурировать с Чусовой – немыслимая вещь.

– О, совершенная пастаки! – подтвердил немец.

– То есть что пастаки: железная дорога или Чусовая?

– Дорог пастаки...

Егор Фомич долго распространялся о всех преимуществах, какие представляет сплав грузов по реке Чусовой сравнительно с отправкой по будущей железной дороге, и с уверенностью пророчил этой реке самое блестящее будущее, как «самой живой уральской артерии».

– Теперь большинство заводов и купечество отправляют грузы в одиночку, – говорил он, играя массивной золотой цепочкой. – Всем это обходится дорого, и все несут убытки только оттого, что не хотят соединиться воедино. Другими словами, стоит передать эксплуатацию всей Чусовой в руки одной какой-нибудь компании, и тогда разом все устроится само собой. Что невыгодно теперь, тогда будет давать дивиденды... Компания организует дело на самых рациональных основаниях, по самым последним указаниям науки и опыта, и все неблагоприятные условия сплава по Чусовой в настоящем его виде падут сами собой, а главное – мы избавимся от разъедающей нас язвы, то есть от необходимости каждый раз нанимать бурлаков из дальних местностей.

– Да, бурлаки – совершенная язва, – почтительно вторил Семен Семеныч.

– Но как же вы обойдетесь без рабочих? – спрашивал кто-то.

– Очень просто: мы заменим сплав на потесах сплавом на лотах, тогда рабочих потребуется в пять раз меньше, то есть как раз настолько, насколько могут дать рабочих чусовские пристани и отчасти заводы. Теперь какая-нибудь лишняя неделя – бурлаки бегут, и мы каждым раз должны переживать крайние затруднения, а тогда...

– Но ведь для сплава на лотах потребуется вдвое больше времени, – заметил доктор, – а вода спадает через неделю...

– Мы устроим в верховьях Чусовой громадный водоем и будем сплавлять караван по паводку. На помощь главному водоему устроим несколько побочных... Одним словом, с технической стороны все предприятие не представляет особенных препятствий, а вся суть заключается в том, чтобы добиться согласия всех заводчиков – передать сплав грузов в одни руки, а затем привлечь к участию в предприятии общество. Теперь частные капиталы лежат непроизводительно, а тогда они будут давать двадцать – тридцать процентов дивиденда. Все выиграют...

Мы усердно пили шампанское за великую будущность Чусовой, за будущую компанию, за гениальный план Егора Фомича и за него самого.

– Деньги, деньги и деньги – вот где главная сила! – сладко закатывая глаза, говорил Егор Фомич на прощанье. – С деньгами мы устроим все: очистим Чусовую от подводных камней, взорвем на воздух все бойцы, уничтожим мели, срежем крутые мысы – словом, сделаем из Чусовой широкую дорогу, по которой можно будет сплавлять не восемь миллионов груза, а все двадцать пять.

Будущие сподвижники и осуществители грандиозных планов Егора Фомича только почтительно мычали или издавали одобрительное кряхтение, глупо хлопая осовелыми, помутившимися глазами. Становой несколько раз принимался ощупывать себе голову, точно сомневался, его ли это голова...

¹¹ Настоящий очерк относится ко времени, предшествовавшему открытию Уральской горнозаводской железной дороги. – Автор.

VI

– Вам куда? – спрашивал меня доктор, когда мы выходили из конторы.

– Я к Осипу Иванычу...

– У него остановились? Гм... Нам по пути. Мне еще нужно зайти кое к кому из пациентов.

Мы пошли по плотине к селению. Весенняя белая ночь стояла над горами, над лесом, над рекой. Такие ночи бывают только на Урале. Кто не переживал такой ночи, тому трудно понять ее чарующую прелесть. Тихо, тихо везде; прохваченный весенней изморозью воздух дремлет чутким сном. Далекие горы чуть повиты молочной дымкой. Дремлет темный лес на берегу, дремлет пристань с своими избушками на крутом угоре, дремлет все кругом под наплывом весенних грез. Ручейки, которые днем весело бороздили по всем улицам, разъедая «череп»,¹² тоже заснули, превратившись в грязно-бурые полосы и наплывы. Я люблю такие ночи, когда так легко и вольно дышится здоровому человеку. Чувствуешь, как сам оживаешь вместе с природой и как в душе накапливается что-то такое хорошее, бодрое, счастливое. Не хочется верить, что эти белые ночи уносят вместе с весенними ручейками столько человеческих жизней – эту неизбежную жертву всякой весны...

Мне доставляет удовольствие присутствие доктора, который шагает рядом со мной; он постоянно спотыкается по своей близорукости, размахивает руками и как-то забавно причмокивает губами. Время от времени он снимает свою баранью шапку и осторожно ощупывает голову, как давеча делал становой.

– Что, доктор? – спрашивал я, удерживаясь от желания пощупать свою голову.

– Это черт знает что такое!.. Мы-то с какой радости пили... а? Вы не акционер «Нептуна»?

– Нет...

– Я тоже... Этот Семен Семеныч подсунул за ужином какую-то такую монашескую специю...

– Шартрез?

– Нет, шартрез само собой: это еще милостиво.

Доктор засмеялся. Его добродушное старческое лицо покрылось розовыми пятнами, глаза блестели. Это был типичный представитель тех славных стариков докторов, которые сохранились только еще в провинции.

– Скажите, пожалуйста, доктор, что это за комедия сегодня разыгрывалась в конторе?

– Это вы насчет Егора Фомича?

– Да...

– Гм... Комедия самая обыкновенная: дела «Нептуна» не сегодня-завтра ликвидируются, – вот Егор Фомич и хватается за соломинку, чтобы выплыть. Акционеров вербует...

– Это-то понятно, только он едва ли чего-нибудь добьется. Никто ему не верит, и соглашаются с ним только из вежливости, то есть, вернее сказать, из-за угощения. Я уверен, что Егор Фомич не сбудет ни одной акции...

– Ну, это трудно сказать вперед. Конечно, ему не верят, даже смеются за глаза над ним, а, наверно, кончится дело тем, что все попадут в лапы к этому же самому Егору Фомичу. Такие превращения случаются сплошь и рядом. Меня собственно интересует манера Егора Фомича добывать акционеров: сначала оглушит проектами, а потом навалится с едой... Ведь глупости, кажется, а между тем действует, да еще как действует! Взять теперь хоть Парфена

¹² Черепом называется тонкий слой льда, который весной остается на дороге; днем он тает, а ночью замерзает в тонкую ледяную корку, которая хрустит и ломается под ногами. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

Маркыча – человек замечательно умный, насквозь видит Егора Фомича со всеми его проектами, а все-таки Егор Фомич слопаёт Парфена Маркыча... И ведь как просто: сегодня завтрак, завтра ужин, послезавтра обед – дело и сойдет, как по маслу. Подите вот вы с человеческой природой: против всего человек устоит, а едой его проймут.

– Вы шутите?

– Нет, говорю совершенно серьезно. Вот сами увидите, как Егор Фомич всех обделает: и Парфена Маркыча, и Алексея Самойлыча, и Павла Петровича, и, по всей вероятности, еще многих других. В природе ведь то же бывает: стоит какая-нибудь этакая скала; кажется, и веку ей не будет, а между тем точит ее ручеек, точит-точит – глядишь, наша скала и рухнула. Так и с нашими акционерами: наживают деньги правдами и неправдами десятки лет, крепятся, скалдырничают, а тут подвернулся Егор Фомич – благоразумный раб и распоясался. Ведь сам не верит ни Егору Фомичу, ни его двадцати процентам, а все-таки идет в ловушку... Черт знает что за глупость!

Мы подошли к квартире Осипа Ивановича.

– Вы спать? – спрашивал доктор, останавливаясь.

– Да.

– В эту-то ночь? Да побойтесь бога, батенька! Это, наконец, бессовестно... Лучше пройдемтесь по берегу, вы погуляете, а я навещу двоих тифозных. Совсем безнадежны... Идет?

– Пожалуй.

– Нет, в самом деле таких белых ночей не много выпадает на нашу долю.

Мы шли по берегу Чусовой, мимо крепких бревенчатых изб, где все покоилось мертвым сном. Где-где глухо брехнет спросонья собака, и опять мертвая тишина кругом; только молодой месяц обливает и лес, и реку, и деревню своим трепетным молочным светом. Теперь пристань походила на громадное поле убиенных, которые там и сям лежали кучками. Ближе эти кучки превращались в груды лохмотьев, из которых выставлялись руки, ноги и головы. Спавшие люди виднелись везде, под малейшим прикрытием: под навесами изб, на завалинках, за углами, а то и просто на бугорке, который солнце за день успело обсушить и прогреть. Ни дать ни взять – настоящее поле убиенных, на котором не успели даже хорошенько прибрать трупов, а просто, для порядку, стаскали их в несколько куч. Дальше, на самом берегу, красным глазом мелькал огонек, около которого можно было различить несколько неподвижных фигур.

– Где же ваши пациенты? – просил я доктора, когда мы подходили уже к концу деревни.

– А вот сейчас... предпоследняя изба.

У предпоследней избы не было ни ворот, ни крытого сплошь двора, ни хозяйственных пристроек; прямо с улицы по шатавшемуся крылечку ход был в темные сени с просвечивавшей крышей. Огня нигде нет. Показалась поджарая собака, повиляла хвостом, точно извиняясь, что ей караулить нечего, и опять скрылась.

– Осторожнее, здесь нет ступеньки... – предупредил доктор, нащупывая рукой бревенчатую стену.

Он толкнул дверь, и она растворилась черным зияющим пятном, как пасть чудовища.

– Осторожнее, здесь люди... – шептал доктор, чиркая спичкой о двери.

Действительно, весь пол в сенях был занят спящими вповалку бурлаками. Даже из дверей избы выставлялись какие-то ноги в лаптях: значит, в избе не хватало места для всех. Слышался тяжелый храп, кто-то поднял голову, мгновение посмотрел на нас и опять бесильно опустил ее. Мы попали в самый развал сна, когда все спали, как зарезанные.

Доктор зажег стеариновый огарок и, шагая через спавших людей, пошел в дальний угол, где на смятой соломе лежали две бессильно вытянутые фигуры. Наше появление раз-

будило одного из спавших бурлаков. Он с трудом поднял голову и, видимо, не мог понять, что происходило кругом.

– Это ты, Силантий? – проговорил доктор.

– Я, ваше благородие... я... – отозвался старик, с тяжелым кряхтением поднимаясь с пола.

В этой сгорбленной старческой фигуре я сразу узнал давешнего бунтовщика Силантия, который трапезовал с Митрием заплесневелыми корочками.

– Ну, что больные? – спрашивал доктор.

– Да кто их знает, ваше благородие, лежат в лежку... Даве Степа-то испить попросил, а Кирило и головы не подымает.

– Да ведь ты спал и, наверно, ничего не слышал?

– Может, и не слышал... – равнодушно согласился Силантий, движением лопаток почесывая спину. – Уж как бог...

– А ты лекарство подавал?

– Подавать-то подавал...

Больные – Кирило, пожилой мужик с песочной бородой, и Степа, молодой, безусый парень с серым лицом, – лежали неподвижно, только можно было расслышать неровное, тяжелое дыханье. Доктор взглянул на Кирилу и покачал головой. Запекшиеся губы, полуоткрытый рот, провалившиеся глубоко глаза – все это было красноречивее слов.

– Кончается? – спрашивал Силантий так же равнодушно.

– К утру будет готов...

– А Степа?

Доктор ничего не отвечал, а только припал головой к больному парню. Когда он взял его за руку, чтобы сосчитать пульс, больной с трудом открыл отяжелевшие веки, посмотрел на доктора мутным, бессмысленным взглядом и глухо прошептал всего одно слово:

– Сапоги...

– Какие сапоги он спрашивает? – шепотом осведомился доктор у Силантия.

– Он так это, ваше благородие... не от ума городит, – объяснял старик. – Ишь втемяшилось ему беспременно купить сапоги, как привалим в Пермь, вот он и поминает их... И что, подумаешь, далось человеку! Какие уж тут сапоги... Как на сплав-то шли, он и спал и видел эти самые сапоги и теперь все их поминает. Не нашивал парень сапогов-то отродясь, так оно любопытно ему было...

Сапоги для мужика – самый соблазнительный предмет, как это уже было замечено многими наблюдателями. Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапоги. Происходит ли эта необъяснимая симпатия оттого, что сапоги являются роскошью для всероссийского лапотника, или это наша исключительно национальная особенность – трудно сказать.

– Так Кирило-то, говоришь, помрет? – спрашивал Силантий, провожая нас на крыльцо.

– Да... – коротко ответил доктор, задувая огарок.

– Ах ты, грех какой вышел... а?.. Чего делать-то будем?

– Похоронят как-нибудь...

– Известно, похоронят... Нет, дома-то у Кирилы семьища осталась – страсть! Сам-восьмой был, и все мал мала меньше... А средства никакого не будет Кириле от вашего благородия?

– Нет, не будет...

– Ах, грех какой... И попа-то на этой треклятой пристани нет; пожалуй, без покаяния и отойдет. Вот бы еще денька два повременил, поп наедет к отвалу каравана, уж за попутьем бы и упокойничка похоронить.

Мы вышли молча. Силантий остался на крыльце, почесываясь лопатками и позевывая. Давешняя собака показалась опять из-за угла, присела задом и тихо завывала.

– Чует упокойничка... – проговорил Силантий.

– Вот вам жертва голодного тифа... – угрюмо проговорил доктор, чмокая губами.

– И много таких?

– Десятка полтора наберется.

Когда еще доктор осматривал больных, с улицы донесся какой-то подавленный стон. Немного погодя звук повторился и застыл в воздухе протяжным унылым воем. Без сомнения, это были волки.

– Доктор, слышите? – спрашивал я.

– Да...

Мы остановились и прислушались. Это были волки. Они перебежали через реку на наш берег и тянули убийственную ноту где-то тут, совсем близко.

– Целая стая... – заметил я.

Доктор вдруг засмеялся.

– А ведь вы и меня на грех навели, – проговорил он. – Ха-ха... Нашли волков!.. Я и позабыл совсем, что сегодня у инородцев праздник. Аллах им послал веселую скотинку, вот они и поют! Огонек-то видите на берегу? – там идет пир горой.

Действительно, теперь можно было совершенно ясно определить, что звуки неслись именно от горевшего на берегу огонька.

– Я не понимаю, доктор, про какую веселую скотинку вы говорите?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.